
ЧЁРНОЕ
СЕРДЦЕ
ГЕННАДИЙ КАЗАНЦЕВ

Геннадий Казанцев
Чёрное сердце

https://litres.ru/74883837
SelfPub; 2026

Аннотация

Проводив сына учиться в Москву, Глеб и Вера Лосевы нанимаются техниками на высокогорную метеостанцию Каратюрек — 2600 метров над Уймонской долиной, напротив Белухи. В ноябре Вера открывает старые военные журналы наблюдений и видит невозможное: погода этой зимы день в день повторяет зиму 1941/42 года. Журнала за март сорок второго на станции нет.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОКТЯБРЬ. 4
Глава 2. Ночной срок 16
Глава 3. Мирская чашка 26
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Геннадий Казанцев
Чёрное сердце

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОКТЯБРЬ.
Глава 1. До весны

Глеб стоял в проёме пилотской кабины и держался обеими руками за края, как держатся в переполненной электричке.

Командир позвал его сам, ещё на площадке в Тюнгуре, пока грузили последние мешки:

— Андреич, иди вперёд. Посмотришь.

Сказал легко, будто так и полагается, и протянул запасную гарнитуру. Отказаться было бы хуже, и Глеб пошёл. Теперь он стоял за спинами пилотов, а прямо перед ним, в проходе, на откидном сиденье сидел бортмеханик — молодой, в наушниках поверх вязаной шапки. Сиденье было обычное, как во всех «восьмёрках», и Глеб старался на него не смотреть.

Приборы он читал, не желая их читать. Обороты несущего винта в зелёном секторе. Температура газов в норме. Машина шла тяжёлая, под завязку: уголь в мешках, бочки с соляркой, мука, сахар, ящики с тушёнкой, картошка, новый аккумулятор для генератора и поверх всего их с Верой сумки.

Командир вёл её ровно, без рывков, с запасом мощности, и Глеб это отметил и одобрил. Левая рука у него сама собой сжалась, будто в ней лежал шаг-газ — рычаг, которым вертолёт поднимают и опускают. Он разжал пальцы.

С января двадцать четвёртого года он в кабине не был ни разу.

Внизу, под левым бортом, разворачивалась долина. Катунь шла по ней широкими петлями, по-осеннему бирюзовая, в белых галечных косах, а вдоль реки лежали тёмные прямоугольники огородов, серые крыши Тюнгура и нитка подвесного моста. Склоны над рекой горели. К первому октября лиственницы пожелтели целиком, и рыжее стояло по склонам полосами, вперемешку с тёмной, почти чёрной хвоей кедров. Выше лес редел, рвался на отдельные деревья и кончался совсем. Там начинались гольцы: голые макушки гор без единого куста, бурые от пожухлой травы, в серых осыпях и первых пятнах снега.

— Красиво тут у вас, — сказал в наушниках второй пилот. Он был молодой и летал сюда, видно, нечасто.

— Не у нас, — ответил командир. — У них.

И кивнул вперёд, на хребет, к которому шла машина.

Командира звали Олег Брюханов. Когда-то они с Глебом стояли на одной площадке в Горно-Алтайске, летали одними маршрутами и пили чай из одного термоса. Про январь двадцать четвёртого Брюханов не спросил ни на земле, ни в воздухе. Спрашивать и не было нужды: про тот январь знали

все, кто летал на Алтае.

Тогда горная станция дала Глебу по телефону фактическую погоду: видимость десять километров, облачность три балла. Через сорок минут он вошёл в облако, которого в сводке не было, а ещё через минуту — в склон. Бортмеханик Саня Кривошеев сидел вот так же, на откидном сиденье в проходе, и последним, что Глеб помнил перед ударом, был его затылок. Комиссия Глеба не обвинила. Врачи списали: позвоночник собрали, но летать с таким позвоночником было нельзя. Наблюдатель с той станции клялся, что выходил к приборам. Глеб был уверен, что не выходил. Доказать ни то ни другое не смог никто.

Он перевёл взгляд с затылка бортмеханика на остекление.

Хребет надвигался. Он был не острый, а широкий, будто горы здесь срезали ножом, и по его спине тянулись бурые террасы, полосы курумника — россыпей из каменных глыб, наваленных одна на другую, — и чёрный камень. Чёрного было больше, чем серого. Плитняк лежал по гребню грудами, торчал из склонов рёбрами и блестел на изломах, как мокрый уголь.

Станцию Глеб увидел раньше, чем ждал. На самом верху стояли несколько крыш, белый ящик на ножках, мачта с флюгером и антенна на растяжках. Чуть ниже, на уступе, темнел низкий сруб, совсем чёрный, будто обгорелый. Всё это было крошечное и сидело на гребне так, словно его поставили сюда на минуту и забыли.

А потом машина развернулась, и слева открылась Белуха.

Она стояла за следующим хребтом, за долиной, которой отсюда не было видно, но казалось, что стоит она прямо за краем площадки. Две вершины и седло между ними. Белое, тяжёлое, с голубыми тенями ледников и отвесной стеной, на которой не держался снег. Она была так близко и так высоко, что глаз не находил ей места. Рядом с ней всё остальное — хребет, станция, сам вертолёт — делалось маленьким и временным.

Второй пилот присвистнул. Командир ничего не сказал.

Он зашёл против ветра, повисел над площадкой, выбирая, куда поставить колёса, и сел мягко, по-горному осторожно: на такой высоте воздух жидкий и держит хуже. Касание Глеб почувствовал раньше, чем увидел, — пятками и позвоночником, тем самым, собранным, — и ему стало досадно, что он это почувствовал.

— Двадцать минут, Андреич, — сказал Брюханов, не снимая рук с управления. — Больше не дам, у меня ещё рейс.

Двигатели не глушили. Задние створки открылись, и в грузовую кабину ударил ветер — холодный, сухой, пахнущий снегом и керосином. Снаружи уже ждали двое: невысокий плотный алтаец в выгоревшей штормовке и длинный парень в оранжевой куртке, с непокрытой головой. Поодаль, у края площадки, стояла серая лайка с хвостом кольцом и смотрела на вертолёт с тем неодобрением, какое бывает только у собак и стариков.

Разгружали молча: в рёве винта говорить было бесполезно. Мешки с углём передавали по цепочке из рук в руки — бортмеханик из кабины парню, парень Глебу, Глеб алтайцу, — и алтаец укладывал их в штабель с подветренной стороны и сразу накрывал брезентом. Бочки скатывали по сходням. Вера носила ящики полегче. Глеб видел, как ветер от винта рвёт у неё из-под шапки волосы и как она отворачивается от снежной крупы, которую несло с площадки. Крупа секла по щекам, как песок.

Через восемнадцать минут Брюханов показал из форточки ладонь: всё. Глеб отошёл к штабелю. Бортмеханик втянул сходни и закрыл створки, и вертолёт задрожал, набирая обороты.

Брюханов открыл форточку шире и что-то крикнул, но за рёвом слов было не разобрать. Глеб прочитал по губам:

— До весны!

Машина приподнялась, повисела, клюнула носом и пошла с гребня в долину, со снижением, по склону, не полезла на хребет против ветра. «Правильно», — подумал Глеб раньше, чем успел себе запретить так думать. Вертолёт уменьшался, становился стрекозой, потом точкой над жёлтыми лиственницами, а звук отставал, тянулся следом и слабел. Потом стих совсем.

И сразу стало слышно ветер.

Он шёл по гребню ровно, без порывов, и пел в растяжках антенны на одной низкой ноте. На штабеле хлопнул бре-

зент. Собака подошла, обнюхала Глебу ботинок и вернулась на своё место у края площадки.

— Ну всё, — сказал парень в оранжевой куртке и широко улыбнулся. — Теперь вы наши.

*

Алтайца звали Эркемен Тадыевич. Он подал руку сначала Вере, потом Глебу. Рука была твёрдая и сухая, как доска.

— Начальник станции, — сказал он. — Это Стас, старший техник. Это Кучум.

Кучум на своё имя не обернулся.

Вера смотрела по сторонам и не могла насмотреться. С воздуха станция казалась игрушечной, а с земли выходила просто маленькой. Жилой дом в одну длинную комнату и три клетушки, обшитый вагонкой, на каменном цоколе. Банька. Сарай для генераторов, дизельного и бензинового, и рядом — бочки. Угольник. Площадка с приборами, обнесённая низкой оградой. Мачта. И на самом краю гребня, над обрывом, дощатый туалет с дверью, выходящей прямо в пустоту.

— Лучший вид в России, — сказал Стас. — Зимой, правда, любоваться некогда.

В доме пахло углём, сушёной травой и почему-то яблоками. Яблоки нашлись в ящике под лавкой, мелкие, жёлтые, из чьего-то тюнгурского сада. В большой комнате стояла плита, длинный стол под клеёнкой и полка с книгами. В углу у окна, отдельно от всего, было рабочее место: компьютер, таб-

ло с цифрами ветра, телефон, толстые журналы в картонных обложках, а на стене в деревянном футляре висел ртутный барометр. Над ним мигал синим огоньком модем. Здесь была связь, и по ней можно было звонить кому угодно, хоть в Москву. От этого, как ни странно, место казалось ещё дальше.

Комнату им отвели маленькую, с одним окном. Глеб первым делом сдвинул две железные кровати вместе. Вера подошла к окну и замерла.

Окно смотрело на Белуху.

Она поняла, что будет просыпаться так каждое утро — и в октябре, и в январе, и в марте, — и что привыкнуть к этому, наверное, нельзя.

Митя улетел в Москву двадцать шестого августа. В тот же вечер в квартире стало так тихо, что Вера, чтобы не слышать этой тишины, открыла сайт с вакансиями и сама не заметила, как набрала в поиске слово «метеостанция». Объявление нашлось на сайте Горно-Алтайского центра. Требовался техник-метеоролог на высокогорную труднодоступную станцию, с образованием и опытом. Образование у неё было: гидрометтехникум. Опыт тоже: два года на станции Кош-Агач, с девяносто шестого по девяносто восьмой. Потом была свадьба, школа, двадцать пять выпусков, Митя. Она показала объявление Глебу просто так, в шутку. Глеб прочитал, помолчал и спросил: «А второго техника им не надо?»

Второго тоже было надо.

*

Эркемен водил их по станции не спеша и говорил мало, только самое нужное. Где рубильник. Где аптечка. Где лопаты. В какой бочке вода, а в какой будет вода, когда ляжет снег: зимой воду здесь топят из снега.

У чёрного сруба на уступе он остановился.

Вблизи сруб оказался больше, чем сверху. Брёвна в обхват, тёмные до черноты, в серебристых продольных трещинах, крыша из почерневших плах, обитая по краю жестью. Дверь на висячем замке. Маленькое окно забито изнутри досками.

— Первый дом, — сказал Эркемен. — Тридцать девятого года. Теперь склад. Туда без меня не ходите, пол гнилой.

— Брёвна снизу поднимали? — спросила Вера. — Здесь же леса нет.

— Снизу, из леса. На конях. Каждое бревно. Кирпич на печку — тоже на конях, во вьюках.

Он постоял ещё и пошёл дальше, а Вера оглянулась на сруб. Ей показалось, что из щели под дверью тянет теплом, как тянет из жилой избы. Она решила, что показалось.

Площадка с приборами была ровная, как стол, и обнесённая низким штакетником, чтобы не забредали козлы. Посередине стояла будка — белый ящик на четырёх ногах, со стенками из косых дощечек, как жалюзи, чтобы ветер проходил, а солнце не попадало. Дальше осадкомер, похожий на ведро в железной ромашке, снегомерные рейки с крупными

чёрными цифрами, мачта с датчиком ветра.

Вера подошла к будке и положила ладонь на дощечки. Дерево было холодное и чуть шершавое от краски.

Последний раз она открывала такую дверцу в мае девяносто восьмого, в Кош-Агаче. Там зимой бывало под пятьдесят, и она, девятнадцатилетняя, плакала по ночам от холода и одиночества, а утром выходила на срок, записывала в книжку цифры, и цифры её успокаивали. Цифры не врали, не обижали и не уезжали.

— Через двадцать минут срок, — сказал Эркемен. — Девятнадцать часов. Пойдёте?

— Пойду.

*

На срок вышли в шесть сорок. Эркемен шёл впереди, Вера за ним, а Глеб остался у ограды смотреть.

Срок — это время, когда наблюдают и передают погоду, на всех станциях одновременно. Их здесь было четыре в сутки: в семь утра, в час дня, в семь вечера и в час ночи. С шестьдесят шестого года станция наблюдала восемь раз в сутки, через каждые три часа, а с осени двадцать второго сроков снова стало четыре, как до шестьдесят шестого.

Эркемен открыл дверцу будки. Дверца смотрела на север, как ей и полагалось, чтобы солнце не грело термометры. Вера заглянула внутрь, увидела знакомые стеклянные трубки в ряд и, раньше чем он успел что-нибудь сказать, прочитала сухой термометр:

— Минус два и четыре.

Эркемен посмотрел на неё, потом на термометр и кивнул. В книжку он записал сам, но Вера видела, что записал её цифры.

Потом подняли глаза к небу, и Вера забыла, зачем сюда вышла.

Солнце садилось за дальние хребты на западе, и долина внизу уже лежала в тени — синяя, глубокая, с блестящей нитью Катуни по дну. А Белуха ещё горела. Свет уходил с неё медленно, снизу вверх: сначала погасли ледники, потом стена, и розовое долго держалось на двух вершинах, будто там, наверху, у них было своё отдельное солнце. Потом погасли и вершины, и Белуха стала серой, как остывший пепел, и сразу холодной.

— Перистые, два балла, на западе, — сказал Эркемен будничным голосом и записал.

В долине зажглись огни. Сначала один, потом россыпь — Тюнгур, — потом дальние, совсем мелкие, по всей долине. Вера стояла и смотрела на них, пока Эркемен не закрыл будку.

*

Ужинали втроём, Стас ушёл спать перед ночным сроком. Эркемен сварил кӧчӧ — густой суп из ячменя с бараниной — и разлил по большим эмалированным мискам. Вера давно так не ела.

— Сегодня станции восемьдесят семь, — сказал Эркемен,

когда миски опустели. — С первого октября тридцать девятого. Ни одного срока не пропустила. Даже в войну.

Стас как раз вышел из своей комнаты попить и задержался у плиты с кружкой в руке.

— Ни одного записанного, — сказал он весело и подмигнул Вере.

Эркемен посмотрел на него и не ответил. Стас допил воду и ушёл. Глеб проводил его взглядом и ничего не сказал, но Вера по его лицу поняла, что он запомнил.

— Завтра ночной срок со мной, — сказал Эркемен Глебу. — Вы, Вера Николаевна, утренний со Стасом. Через неделю будете сами.

*

Перед сном они вышли на крыльцо. Мороз окреп, и по краю площадки лёг иней. Из-за дальнего хребта поднималась луна, уже ущербная, с подточенным правым боком. Белуха в её свете казалась ближе, чем днём, и совсем бесцветной, будто её вырезали из бумаги и наклеили на небо. Внизу, в долине, горели огни.

Эркемен вышел следом выплеснуть воду из таза и постоял рядом.

— Каратюрек, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — По-алтайски — чёрное сердце. Из-за камня так назвали. Старики говорят, сюда поднимаются только с чистыми помыслами.

— А если не с чистыми? — спросила Вера.

Эркемен пожал плечами.

— Не знаю. Я тридцать лет здесь. Пока пускает.

Он ушёл в дом. Глеб остался стоять и слушать, как ветер тянет в растяжках антенны одну и ту же низкую ноту. Он думал о том, что теперь погоду будет записывать сам и никто больше не продаст ему её с чужих слов. Почему-то от этой мысли было не спокойнее, а тревожнее.

Глава 2. Ночной срок

Эркемен разбудил его без двадцати час, просто положил руку на плечо. Глеб открыл глаза и сразу понял, где он: в окне стояла Белуха, белая, в лунном свете, и до неё было рукой подать.

Одевались в темноте, чтобы не будить Веру. Термобельё, свитер, ватные штаны, пуховка. На крыльце мороз взял за лицо сразу, без предупреждения, как берут за шиворот. Луна стояла высоко на юго-востоке, ущербная и очень яркая, и в её свете чёрный камень по гребню блестел инеем, будто его посыпали солью. Тени лежали резкие, как днём, только синие.

До площадки было сорок шагов. Эркемен шёл первым, с фонариком на лбу, но фонарь не включал: хватало луны.

У калитки он остановился и долго смотрел на небо. Глеб ждал.

— Сначала небо, — сказал Эркемен. — Пока глаза не испортил фонарём.

Ночью облака, оказалось, определяют по звёздам. Где звёзды видны, там чисто. Где их нет, там облако, даже если самого облака не видно. Эркемен повёл рукой по небу, от горизонта к горизонту, медленно, будто гладил.

— Чисто. Ноль.

Потом видимость. Днём её определяют по ориентирам, по

хребтам и вершинам, до которых известно расстояние. Ночью — по огням. Эркемен показал на дальнюю россыпь огней внизу, на дне долины:

— Тюнгур виден — значит, больше десяти километров. Белуху видно — значит, ещё больше. Но Белуха не огонь, её не считаем.

Он открыл будку и только тогда включил фонарик, отвернув его в сторону, чтобы свет падал на термометры краем. Работал быстро и дышал в сторону, мимо стекла, — Глеб не сразу понял, что это нарочно: тёплое дыхание сбивает показания. Сухой термометр. Смоченный, обледеневший, с тонкой корочкой льда на батисте. Максимальный — прочитать и стряхнуть, как градусник у больного. Минимальный — прочитать и наклонить, чтобы крошечный стеклянный штифтик внутри спирта съехал на место. Волосной гигрометр. Цифры Эркемен называл вполголоса, Глеб записывал в книжку карандашом при свете своего фонаря.

— Карандашом, — сказал Эркемен, увидев, что Глеб полез за ручкой. — Ручка на морозе не пишет. И карандаш не расплывается, если книжку замочит.

Минус девять и шесть. Влажность сорок восемь. Минимум с вечера — минус девять и восемь.

Потом осадкомер. Потом снегомерные рейки: снега пока не было, только иней. Ветер — на табло в доме. Давление — по барометру в доме. Всё вместе заняло одиннадцать минут.

Дома Эркемен сел к компьютеру и стал набирать сводку.

Погода на экране превращалась в цифры, в ряды групп по пять знаков: облака, видимость, ветер, температура, давление. Это называлось код КН-01. Глеб смотрел через плечо и ничего не понимал, хотя всю жизнь читал сводки, сделанные из таких цифр. Он никогда не думал, что их кто-то набирает вот так, ночью, в двух шагах от Белухи, в пуховке поверх свитера.

Сводка ушла в Горно-Алтайск в час двенадцать.

— Всё, — сказал Эркемен. — До семи.

Он снял пуховку и поставил чайник. Глеб сидел за столом и смотрел, как он двигается — неторопливо, без лишнего шага.

— А бывает, что к будке не выходят? — спросил Глеб.

Эркемен поставил на стол две кружки.

— Бывает метель такая, что не дойти. Тогда так и пишешь: не дошёл, наблюдение не произведено.

— А бывает, что пишут, будто дошли?

Эркемен посмотрел на него. Глаза у него были узкие и очень спокойные.

— Бывает и так, — сказал он.

Больше он ничего не добавил, и Глеб не стал спрашивать дальше.

*

На обратном пути от площадки — уже после чая, когда Эркемен вышел проверить, закрыта ли будка, а Глеб увязался за ним, потому что спать всё равно не хотелось, — они

прошли мимо груды камней на краю обрыва.

Днём Глеб её не заметил. Это была небольшая груда плоского чёрного плитняка, сложенная пирамидой, по пояс человеку. На верхних камнях, придавленные сверху, трепетали обрывки ткани — белые, голубые, выцветшие до серого. Ветер шевелил их, и в лунном свете они казались живыми.

Эркемен, проходя, коснулся верхнего камня ладонью. Не остановился, не сказал ни слова — просто коснулся, как касаются плеча знакомого, мимо которого идут.

Глеб ничего не спросил.

*

Утренний срок Вера отработала со Стасом.

Она вышла в без десяти семь и остановилась на крыльце, потому что долины не было.

Вместо неё до самого горизонта лежали облака. Ровные, белые, плотные, они заполнили всю чашу между хребтами, и из этой белизны торчали только тёмные гребни, как спины, и далеко на севере — снежная гряда хребта. Станция стояла над облаками, как на берегу. Небо над головой было пустое, бледно-зелёное у востока, и ни одного облака в нём не было: все лежали внизу.

А потом солнце, которое ещё не встало для долины, встало для Белухи.

Свет лёг на вершины сначала тонкой полосой, оранжевой, почти красной, и пошёл вниз по стене, и с каждой минутой делался светлее, желтее, белее. Стена загорелась вся. Ледни-

ки под ней засветились голубым. Облачное море внизу тронулось розовым по самым верхушкам, будто его подожгли с краю, а под ним, Вера знала, в долине ещё стояли сумерки и горели фонари. Это было так странно и так красиво, что она забыла, зачем вышла.

— Красиво, да, — сказал Стас за спиной. — Первые две недели все так стоят. Потом проходит.

Он прошёл мимо неё к площадке. Работал Стас быстро и точно, и Вера, глядя на него, сразу поняла, что он знает своё дело лучше, чем она когда-либо знала. Не задумывался ни на секунду. Облака он определил одним взглядом, сам себе вслух:

— Слоисто-кучевые, внизу, сплошные. Над нами чисто. Туман в долине.

Цифры читал скороговоркой, как таблицу умножения. Вера записывала.

— Главное, чтобы красиво было, — сказал он, заглядывая к ней в книжку. — В центре книжки потом смотрят. Почерк чтобы ровный.

— Главное, чтобы правильно было, — сказала Вера.

— Ну и правильно, конечно, — согласился Стас легко. — Это само собой.

У края площадки он вдруг замер и показал рукой вниз, на склон:

— Вон, смотрите. Козлы.

По курумнику, метрах в двухстах ниже, шли горные коз-

лы — пять или шесть, светло-бурые на сером камне. Впереди шёл старый самец. Рога у него были огромные, загнутые назад саблями, в поперечных буграх, и он нёс их так, будто они ничего не весили. Козлы шли по камню без всякой тропы, перескакивали с глыбы на глыбу, и ни один камень под ними не стукнул. Самец остановился, поднял голову и долго смотрел наверх, на станцию, на людей. Потом повёл стадо дальше и пропал за перегибом склона.

Откуда-то из камней донёсся свист — переливчатый, протяжный, похожий на песню, только без слов.

— Улары, — сказал Стас. — Горные индейки. Их тут полно. Свистят, а не увидишь.

*

Первую неделю они учились.

Работа оказалась проще, чем Глеб боялся, и труднее, чем думала Вера. Проще, потому что всё было расписано: что за чем, каким прибором, в какую графу. Труднее, потому что расписано было всё, и малейшая небрежность тут же вылезала наружу. Наблюдатель здесь отвечал за каждую цифру лично. Каждую он подписывал.

Облака Глеб знал всю жизнь — снизу и изнутри, по тряске, по обледенению, по тому, как в них темнеет кабина. Называть их по-учёному его учила Вера. Она привезла с собой старый атлас облаков — тот самый, кош-агачский, с карандашными пометками на полях, с загнутыми уголками, — и по вечерам они сидели над ним, как над школьным учебни-

ком.

— Это высококучевые, — говорила Вера. — Барашки.

— Это где болтанка слабая и обледенения нет, — говорил Глеб.

— А это слоисто-дождевые.

— А это туда лучше не лезть.

Вера смеялась. Глеб тоже улыбался — впервые за долгое время, как ей показалось, не через силу.

Она заметила за ним одну вещь, которую знала и раньше, но здесь, на станции, где каждое слово про погоду было делом, это стало заметнее. Глеб никогда не говорил «последний». Последний срок, последняя сводка, последний мешок — нет. Только «крайний». Все лётчики так говорят: последнего полёта у лётчика быть не должно. Стас над этим посмеивался. Эркемен — нет.

В воскресенье позвонил Митя. Связь была хорошая, и Вера даже видела его лицо: общежитие, окно, за окном какая-то московская стена.

— Мам, у вас там правда интернет есть? — спросил он. — Я думал, вы там с рацией и с керосинкой.

— С рацией и с керосинкой было раньше, — сказала Вера. — В тридцать девятом году.

Она повернула телефон к окну, к Белухе, и Митя замолчал. Потом сказал: «Ничего себе». Потом спросил про отца. Глеб подошёл, постоял за спиной у Веры и помахал сыну рукой, но говорить не стал. Он никогда не любил говорить по

телефону.

*

Про груду камней на краю обрыва спросила Вера.

Эркемен колол во дворе дрова. Он воткнул топор в колоду и выпрямился.

— Тур, — сказал он. — Так у нас кладут камни на перевалах, на высоких местах. Кто идёт, кладёт камень. Этот строители сложили. Тогда ещё, в тридцать девятом.

— А ленточки?

— Дьялама. Их привязывают парой, не одну. И только когда в голове чисто. С плохими мыслями привязывать нельзя: тогда лучше вовсе не привязывать.

— А кому?

Эркемен посмотрел в сторону Белухи.

— Хозяину Алтая. Алтайдын ээзи. Он там живёт. — Он кивнул на две белые вершины. — Старик, весь в белом. Кто видел — говорят, в белом.

— А вы видели?

— Нет, — сказал Эркемен просто. — Мне не надо.

Он взял топор и расколол следующее полено. Вера не засмеялась и даже не улыбнулась, и Эркемен, кажется, это отметил.

*

Снег пошёл в ночь на восьмое.

Глеб узнал об этом в без десяти семь, когда вышел на свой первый самостоятельный срок. Станция стояла белая. Сне-

га выпало немного, сантиметра три, сухого и лёгкого, и он лежал на всём ровно, как пудра: на штабеле угля, на крыше бани, на штакетнике, на черных камнях тура. Небо очистилось, и с востока уже шёл свет.

К будке вела тропинка — следы, протоптанные за неделю, присыпанные новым снегом. Глеб пошёл было по ней и остановился.

Под свежим снегом угадывались вчерашние вечерние следы: его собственные, крупные, и маленькие Верины рядом. Он сам ходил с ней на девятнадцатичасовой срок. Снег лёг на них ровно, не нарушенный ни в одном месте.

Больше следов не было.

Ночной срок вчера был у Стаса. В книжке его ровным почерком было записано всё, что полагалось: облачность, видимость, температура, минимум, а в графе явлений — «снег слабый с 23 ч 40 мин». Снег он видел. Видно его было и из окна.

Глеб постоял над тропинкой. Может быть, Стас шёл не по тропе, а сбоку, по камням. Может быть, ветер под утро разровнял снег. Может быть, ещё что-нибудь.

Ветра ночью не было: снег лежал на перилах крыльца ровным валиком, его никто не сдувал.

Он прошёл к будке рядом с тропинкой, по свежему снегу, оставляя чёткие глубокие следы, и сделал всё, что полагалось. Сухой, смоченный, максимальный — стряхнуть, минимальный — наклонить. Облака: ноль. Видимость: больше

пятидесяти километров. Снег: три сантиметра. Записал карандашом, расписался.

Стасу он ничего не сказал. Эркемену тоже.

Но запомнил.

Глава 3. Мирская чашка

Чашку Таисья завернула в полотенце и положила на самое дно перемётной сумы, под бельё, чтобы не разбилась на тропе.

Чашка была фаянсовая, белая, с синей каёмкой и щербинкой на краю. Дома она стояла на отдельной полке у двери, отдельно от всей прочей посуды, и звалась мирской. Из неё поили чужих: заезжего фельдшера, уполномоченного из района, проезжего алтайца, всякого, кто не их веры. Чтобы чужие губы не касались своих чашек. Так было у отца, так было у деда, так было во всей деревне, сколько Таисья себя помнила.

Когда Павел в апреле пришёл к ним свататься, отец налил ему чаю в эту чашку.

Павел ничего не понял. Он пил чай, хвалил мёд, рассказывал про метеостанцию, которую строят на хребте, и про то, что Таисья — лучшая наблюдательница во всём аймаке. Отец слушал, кивал и смотрел на чашку в его руке. Мать стояла у печи и тоже смотрела на чашку. Таисья смотрела на отца. Всё было сказано, хотя никто не сказал ни слова.

В мае они с Павлом расписались в сельсовете. Благословения не было. Когда она уходила со двора, мать догнала её у ворот, сунула в руки свёрток и сказала тихо, чтобы не услышал отец:

— Возьми. Теперь твоя.

В свёртке была эта чашка.

Таисья до сих пор не знала, что мать хотела сказать. Что дочь теперь чужая, мирская, и пить ей из мирской посуды. Или что у дочери, уходящей из дома, должно быть хоть что-нибудь из дома. Наверное, и то и другое сразу. Мать всегда говорила так, что понимать приходилось двумя способами.

*

Из Кучерлы вышли на рассвете. Было двенадцатое июля, Петров день.

У отца сегодня были именины: Пётр. У Павла тоже: Павел. Апостолов Петра и Павла поминают в один день. В Верхнем Уймоне сейчас, наверное, уже затопили печь, и мать месит тесто на пироги с жимолостью, и после полудня соберётся родня, и отец сядет во главе стола. А её место за этим столом будет пустым. И в этот самый день она уходит с другим Павлом на гору, всё дальше и выше от отцовского стола, и вечером будет пить чай из мирской чашки.

Она подумала, что, если бы такое придумали нарочно, никто бы не поверил.

Павел ничего этого не знал. Он сидел в седле боком, как на стуле, и насвистывал. Ему было двадцать девять. Он был из Бийска, из рабочей семьи, весёлый, крепкий и такой ясный, что рядом с ним было стыдно хитрить. В бога он не верил и не скрывал этого. Зато и не врал никогда, ни в большом, ни в малом, и Таисье это в нём нравилось больше всего.

Впереди, с поводом первой вьючной лошади, шёл Сабаш.

Старик служил на станции конюхом и рабочим с самой стройки, с прошлого лета, и ходил этой тропой столько раз, что, кажется, мог пройти её с завязанными глазами. Ему было за шестьдесят. По-русски он говорил мало и плохо, но понимал всё. Лицо у него было тёмное, в морщинах, как печёное яблоко, а глаза светлые, неожиданно молодые. Он шёл пешком, хотя мог ехать, и вёл в поводу трёх вьючных лошадей. На вьюках была мука, крупа, соль, керосин в бидонах, батареи для рации, ящик с книгами Павла и их с Таисьей узлы.

Сначала дорога шла вдоль Кучерлы, по дну долины. Река гремела рядом, белая от пены, и от неё тянуло холодом, как из погреба. Камни на перекатах бились друг о друга под водой, и этот стук, глухой и тяжёлый, был слышен даже сквозь рёв. Потом дорога кончилась, и началась тропа.

Тропа полезла вверх по склону, петлями, то влево, то вправо. Лошади шли тяжело, со вздохом на каждом повороте, и из-под копыт сыпались камешки. Лес здесь был кедровый, тёмный, высокий, и пахло в нём смолой, мхом и прелой хвоей. Шишки на кедрах висели ещё зелёные, липкие, тугие, до осени им было далеко. Под ногами лежал толстый, пружинистый ковёр из хвои, и звуки в нём глохли. Даже река, оставшись внизу, становилась тише с каждой петлёй, пока не превратилась в шум, похожий на шум в ушах.

На третьем часу Таисью замутило.

Она этого ждала. Её мутило по утрам уже не первую неделю, и она знала отчего. Павлу она пока не сказала. Сказала себе, что это от высоты, от тряски, от голода. Пожевала сухарь. Стало чуть легче.

Сабаш оглянулся на неё, посмотрел внимательно и ничего не сказал. Только сбавил шаг.

*

Кедры кончились, как обрезанные.

Только что вокруг был лес, высокий, сумрачный, — и вот последние деревья, кривые, приземистые, с ветками на одну сторону, все в одну, подветренную, как флаги. А за ними открылся луг. Таисья ахнула вслух и сама не заметила.

Луг цвёл. Цвело всё сразу, как цветёт только высоко в горах, где лето короткое и надо успеть за несколько недель. Жарки стояли у края снежника, оранжевые, горячие, как угли, — внизу они отцвели ещё в июне, а здесь горели. Водосбор, большой, голубой, с длинными шпорцами. Белые ветреницы. Синие горечавки, такие яркие, что в них было больно смотреть. Какие-то мелкие жёлтые, какие-то розовые, каких Таисья не знала, и всё это ковром, сплошь, до самых камней, и над всем этим висел запах — медовый, густой, почти тяжёлый.

Сабаш остановил лошадей и дал им отдохнуть. Сам отошёл к камням и наклонился. Таисья увидела у него в руке корень — толстый, бурый, с золотистым отливом на изломе.

— Алтын тамыр, — сказал Сабаш. — Золотой корень. От

сердца.

Он положил корень в карман, а в ямку, из которой выкопал, бросил щепоть табаку. Таисья поняла, что это плата. Земле за корень.

Выше луга начался камень.

Он был серый и чёрный, больше чёрного. Тропа шла по нему, между глыбами, и из-под глыб время от времени раздавался короткий писк, и тут же что-то мелькало, маленькое, серое, круглое, и пряталось. Это были пищухи — сеноставки. Сабаш показал Таисье под нависшим камнем аккуратный стожок травы с цветами, высушенной, уложенной, совсем как у людей.

— Зимой едят, — сказал он. — Умные.

Над камнями ходил беркут. Он не махал крыльями, только поворачивался, и его тень скользила по курумнику.

А снежники, которые попадались всё чаще, были не белые, а в розовых разводах, словно кто-то пролил на них морс. Павел ковырнул снег носком сапога, и под ковырком тоже оказалось розовое.

— Это водоросль, — сказал он. — Живёт прямо в снегу. Я читал.

Таисья не знала, верить ли. Ей было удивительно, что в снегу может что-то жить.

*

На повороте, у границы леса, где стояла последняя одинокая лиственница, Сабаш снова остановился.

Лиственница была старая, корявая, с ободранной ветром макушкой. Нижние её ветки были увешаны лоскутками ткани — белыми, синими, выцветшими, — и они трепетали на ветру. Под деревом лежала груда камней.

Сабаш положил на груду камень. Потом достал из-за пазухи две ленточки, белую и синюю, и привязал их к ветке рядом. Привязывал долго, бережно, двумя руками, и губы у него шевелились.

Таисья отвернулась. С детства ей говорили, что смотреть на такое грех: это бесовское, поганое, от такого отворачиваются и крестятся. Но краем глаза она всё равно видела лицо старика — спокойное, внимательное, без всякого страха и без всякой хитрости. Так молилась её мать. Так никогда не умел молиться отец: отец молился громко и строго, словно отчитывался перед начальством.

— С богами своими договаривается, — сказал Павел весело и негромко, чтобы старик не услышал.

— Не надо, — сказала Таисья.

Павел посмотрел на неё с удивлением и замолчал.

*

К станции вышли в начале четвёртого.

Её Таисья увидела раньше, чем Белуху: на голом гребне стоял новый сруб из толстых лиственничных брёвен, ещё светлых, ещё не потемневших, с жёлтыми потёками смолы на торцах. Рядом белела будка на ножках, а на шесте покачивался флюгер с тяжёлой железной доской — по тому, как

высоко доска поднимается под ветром, судят о его силе. Чуть поодаль, на двух столбах, тянулась антенна рации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.